

## ПО-СЕМЕЙНОМУ

Было это... право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, неуспехов, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной — сущей гиеной по коварству, жадности и злобе.

Нас, постоянных жильцов, было шестеро, все — люди одинокие. В первом номере обитал самый старинный постоялец. Когда-то он был купцом, имел ортопедический и корсетный магазин, потом втянулся в карточную игру и проиграл все свое предприятие; служил одно время приказчиком, но страсть к игре совершенно выбила его из колеи. Теперь он жил бог знает каким нелепым и кошмарным образом. Днем спал, а поздно вечером уходил в какие-то тайные игорные притончики, которых множество на берегу Днепра, около большого речного порта. Был он — как все игроки не по расчету, а по страсти — широким, вежливым и фатальным человеком.

В номере третьем жил инженер Бутковский. Если верить ему, то он окончил лесной, горный, путейский и технологический институты, не считая заграничной высшей школы. И правда, в смысле всевозможных знаний он был похож на фаршированную колбасу или на чемодан, куда, собираясь в путь, напихали всякого тряпья сверх

меры, придавили верхнюю крышку животом и с трудом заперли чемодан на ключ, но если откроешь, то все лежит наружу. Он свободно и даже без просьбы говорил о лоции, об авиации, ботанике, статистике, дендрологии, политике, об ископаемых бронтозаврах, астрономии, фортификации, септаккордах и доминантах, о птицеводстве, огородничестве, облесении оврагов и городской канализации. Он запивал раз в месяц на три дня, когда говорил исключительно по-французски и по-французски же писал в это время коротенькие записочки о деньгах своим бывшим коллегам-инженерам. Потом дней пять он отлеживался под синим английским клетчатым пледом и потел. Больше он ничего не делал, если не считать писем в редакцию, которые он писал всюду и по всяким поводам: по случаю осушения болот Полесья, открытия новой звезды, артезианских колодцев и т. д. Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, стоявшие у него на этажерке, и потом находил их, как сюрпризы. И, помню, часто он говорил (он картавил):

— Дгуг мой. Возьмите, пгошу вас, с полки Элизе Геклю, том четвегтый. Там между двухсотой и трехсотой станицами должны быть пять гублей, котогые я вам должен.

Собою же он был совсем лыс, с белой бородой и седыми бакенбардами веером.

В восьмом номере жил я. В седьмом — студент с толстым безусым лицом, заика и паинька (теперь он прокурор с большой известностью). В шестом — немец Карл, шоссейный техник, жирный остзеец, трясущийся пивопийца. А пятый номер нанимала проститутка Зоя, которую хозяйка уважала больше, чем нас всех остальных, вместе взятых. Во-первых, она платила за номер дороже, чем мы, во-вторых, — платила всегда вперед, а в-третьих, — от нее не было никакого шума, так как к себе она водила — и то лишь изредка — только гостей солидных, пожилых и тихих, а больше ночевала на стороне, в чужих гостиницах.

Надо сказать, что все мы были и знакомы и как будто бы незнакомы. Одолжались друг у друга заваркой чая, иголкой, ниткой, кипятком, газетой, чернилами, конвертами и бумагой.

Всех номеров было в нашем прибежище девять. Остальные три занимались на ночь или на время случайными парочками. Мы не сердились. Мы ко всему привыкли.

Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру: река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый, низменный черниговский берег. Стояли теплые темные ночи, и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся — и видишь, как они вдруг засияли нежными, яркими первыми листиками.

Тут подошла и пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть — сладкая, легкая и тихая, точно я жалел без боли об утраченной чистоте и ясности моего детства.

Когда я вернулся в номера, меня встретил наш курсовый коридорный Васька, шустрый и лукавый мальчуган. Мы похристосовались. Улыбаясь до ушей и обнаруживая все свои зубы и десны, Васька сказал мне:

— Барышня с пятого номера велела, чтобы вы зашли до ее.

Я немного удивился. Мы с этой барышней совсем не были знакомы.

— Она и записку вам прислала, — продолжал Васька. — Вон на столе лежит.

Я взял разграфленный листок, вырванный из записной книжки, и под печатной рубрикой «Приход» прочитал следующее:

«Глубокожамый № 8.

Если вам свободно и не по Брезгуете очень прошу вас  
зати ко мне У номер разговца священой пасхой.

Извесная вам Зоя Крамаренкова».

Я постучал к инженеру, чтобы посоветоваться с ним. Он стоял перед зеркалом и с упорством всеми десятью

пальцами приводил в порядок свои жесткие, запущенные седины. На нем был лоснившийся сюртук, видавший виды, и белый галстук вокруг заношенного, порыженевшего с краю воротничка.

Оказывается, он тоже получил пригласительную записку. Мы пошли вместе.

Зоя встретила нас на пороге, извиняясь и краснея. У нее было самое заурядное, самое типичное лицо русской проститутки: мягкие, добрые, безвольные губы, нос немногого картофелем и безбровые серые глаза навыкате — «лупетки». Но ее улыбка — нынешняя, домашняя, безыскусственная улыбка, такая застенчивая, тихая и женственная — вдруг на мгновение делала лицо Зои прелестным.

У нее уже сидели игрок и шоссейный Карл. Таким образом, за исключением студента, здесь собирались все постоянные обитатели номеров «Днепровская гавань».

Комната у нее была именно такая, какой я себе ее представлял. На комоде пустые бомбоньерки, налепные картинки, жирная пудра и щипцы для волос. На стенах линялые фотографии безусых и курчавых фармацевтов, гордых актеров в профиль и грозных прапорщиков с обнаженными саблями. На кровати гора подушек под тюлевой накидкой, но на столе, покрытом бумагой, вырезанной, как кружево, красовались пасхи, кулич, яйца, нога ветчины и две бутылки какого-то таинственного вина.

Мы похристосовались с ней щека об щеку, целомудренно и манерно, и сели закусывать. Надо сказать, что все мы в этот час представляли собою странное и редкое зрелище: четверо мужчин, в конец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью, четверо старых кляч, которым в общей сложности было во всяком случае больше двухсот лет, и пятая — наша хозяйка — уже немолодая русская проститутка, то есть самое несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете.

Но как она была неуклюже мила, как застенчиво гостеприимна, как дружески и деликатно проста!

— Получайте, — ласково говорила она, протягивая кому-нибудь из нас тарелку, — получайте и кушайте, пожалуйста. Номер шестой, вы, я знаю, больше пиво пьете.

Мне Вася рассказывал. Так достаньте около вас под столом. А вам, господа, я налью вина. Это очень хорошее вино. Тенериф. У меня есть один знакомый пароходчик, так он его постоянно пьет.

Мы четверо знали все в жизни и, конечно, знали, на какие деньги был устроен весь этот пасхальный стол вместе с пивом и «тенерифом». Но это знание, однако, совсем не коробило и не угнетало нас.

Зоя рассказывала о своих ночных впечатлениях. В Братстве, где она отстояла заутреню, была страшная теснота, но Зое удалось занять хорошее место. Чудесно пел академический хор, а евангелие читали сами студенты, и читали поочередно на всех языках, какие только есть на свете: по-французски, по-немецки, по-гречески, и даже на арабском языке. А когда святили на дворе пасхи и куличи, то сделалась такая толкотня, что богомольцы перепутали свои припасы и перессорились.

Потом Зоя задумалась, развздыхалась и стала мечтательно вспоминать великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон», синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет.

А чтобы желтый был цвет, так мы луком яйца обертывали, шелухой,— и в кипяток. А то еще разноцветными тряпочками красили. А потом целую неделю ходили по селу и били яйцо об яйцо. Сначала носиком, потом ж..кой, кто перебьет другого, тот забирает себе. Один парнишка достал где-то в городе каменное яйцо — так он всех перекокал. Но когда дознались, в чем дело, то у него все яйца отняли, а самого поколотили.

И целую святую неделю у нас качели. Одни — большие посередь села: это общественные. А то еще отдельно у каждого ворот маленькие качели — дощечка и пара веревок. Так всю неделю качаются все — мальчишки и девчонки, и все поют: Христос воскресе. Хорошо у нас!

Мы слушали ее молча. Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о матери, о прежних пасхах.

Между тем коленкоровая занавеска на окне холодно поголубела от рассвета, потом стала темнеть и переходить в желтый тон и вдруг незаметно стала розовой от отраженного солнца.

— Вы не боитесь, господа, я открою окно? — сказала Зоя.

Она подняла занавеску и распахнула раму. Вслед за нею и мы все подошли к окну.

Было такое светлое, чистое праздничное утро, как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по местам и это голубое небо, и пушистые белые облака на нем, и высокие старые тополи, трепетавшие молодой, клейкой, благоухающей листвой. Днепр расстился под нами на необозримое пространство — синий и страшный у берегов, спокойный и серебряный вдали. На всех городских колокольнях звонили.

И вдруг все мы невольно обернулись. Инженер плакал. Ухватившись руками за косяк оконной рамы и прижавшись к нему лбом, он качал головой и весь вздрогивал от рыданий. Бог весть что делалось в его старческой, опустошенной и израненной душе неудачника. Я знал его прежнюю жизнь только слегка, по случайным намекам: тяжелая женитьба на распутной бабенке, растрата казенных денег, стрельба из револьвера в любовника жены, тоска по детям, ушедшим к матери...

Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его седую, с красной бугристой плешью голову себе на грудь и стала тихо гладить его плечи и щеки.

— Ах, миленький, ах вы, мой бедненький, — говорила она певуче. — Сама ведь я знаю, как трудно вам жить. Все вы, как песики заброшенные... старенькие... одиночные. Ну, ничего, ничего... потерпите, голубчики мои... Бог даст, все пройдет, и дела поправятся, и все пойдет по хорошему... Ах вы, родненький мой...

С трудом инженеру удалось справиться. Веки у него набрякли, белки покраснели, а распухший нос стал почти синим.

— Чегт! Негвы пгоклятые! Чегт! — говорил он сердито, отворачиваясь к стене.

И по его голосу я слышал, что у него в горле, во рту и в носу еще стоят едкие невылившиеся слезы.

Через пять минут мы стали прощаться и все почтительно поцеловали руку у Зои. Мы с инженером вышли последними, и как раз у самых дверей Зоиного номера на нас наскочил возвращавшийся из гостей студент.

— Ага! — воскликнул он, улыбаясь и многозначительно вздернув брови. — Вы в-он откуда? Гм... рассказывались, значит?

В тоне его голоса мы услышали определенную гнусность. Но инженер великолепно и медленно смерил его взглядом от сапог до верха фуражки и после длинной паузы сказал через плечо тоном непередаваемого презрения:

— Ссуслик!